

Похвальное слово схватке

За Сараево, март 1993 [72]

«Сараево» стало высказыванием законченной системы сведения к идентичности. Это уже не знак на некотором пути или в истории, это уже не место возможных туристических поездок или же деловых встреч и интриг, и не неопределенное пространство неожиданных встреч или тайного проезда. Это не имеющая измерения точка в схеме суверенитета, ортонормативный датчик на баллистическом и политическом компьютере, неподвижная мишень в видеоискателе и даже показатель точности наводки; это чистая точка прицела некоторой сути. Где-то Некто объявляет, что он является Народом, Правом, Государством, Идентичностью, с именем которой «Сараево» должно простонапросто идентифицироваться как мишень.

Сараево: больше уже даже не название, надпись, которую нам прибили к глазам, чтобы не было больше пейзажа Сараево, путешествия в Сараево, а только чистая и голая идентичность. Чтобы ничто другое с этим не смешивалось и чтобы мы также не смешивались с ним, мы, другие европейцы-космополиты.

Город не должен быть идентифицируемым посредством чего-то иного, кроме названия, которое обозначает место, место схватки, пересечение и остановку, узел и обмен, соревнование, развязку, циркуляцию, расхождение. Название города, как и название страны, как и название народа и как имя человека, никогда не должно было бы быть именем кого-то персонально, оно всегда должно было бы быть ничьим именем, не представимым персонально или собственно. «Имя собственное» не имеет сигнификации, или же то, что в нем таковой является, - это лишь эскиз некоторого описания, де-юре и де-факто неопределенного. Начинательный и стохастический смысл: свалка слогов, отодвинутая на край семантической идентичности, аккуратно, упрямо отложенной. Как только имя собственное указывает на присутствие в лице, на суверенного Субъекта, это суверенное оказывается под угрозой, в окружении, в осаде. Чтобы жить в Сараево, не было никакой необходимости идентифицировать Сараево. Но те, кто отныне умирает в Сараево, умирают от смерти самого Сараево, они умирают из-за возможности, предоставленной пушечным выстрелам распознавать под этим именем некую субстанцию или некое присутствие, измеренное в локтях «национального» или «государственного», некое тело-символ, воздвигнутое как раз для того, чтобы создать тело и символ там, где было лишь место и проход. Те, кто был выслан из Сараево, были высланы из этого места, изгнаны этим телом. Они были высланы из этой неразберихи, из этой схватки, которая составляла Сараево, но которая, тем самым, не составляла ничего, не породила никакого его. Имя «собственное» должно было бы всегда служить растворению его: последнее открывает смысл, чистый

источник смысла, первое же указывает на схватку, заставляет звучать мелодию: *Сараево*.

Меня попросили написать «похвальное слово смешению». Я же хотел бы создать похвальное слово, которое само по себе было бы «смешанным». Собственно говоря, не смесь похвалы и порицания, чтобы свести к полному нулю потери и выгоды, и не для того, чтобы поразить «умеренной» («mitige») похвалой, любопытным образом напоминающей крайнее безразличие. Но, в конце концов, речь идет о том (все это понимают, это находится здесь, перед нашими глазами, достаточно уметь собрать, принять то, о чем идет речь), чтобы, невзирая ни на что, ничему не уступать, ни в отношении идентичности, ни в отношении того, что ее смешивает и запутывает в самом истоке и принципе. Следовательно, нужна смешанная похвала сдержанности, той сдержанности, которая уместна, если мы не хотим чтобы сама по себе похвала привела к тому, чтобы предать свой объект, сделать его слишком узнаваемым.

На самом деле - следует это тотчас же сказать и вообще ничего, кроме этого, говорить не следовало бы - наиболее точной и наиболее прекрасной похвалой смешению было бы не быть должным делать это, поскольку невозможно даже распознать, идентифицировать это понятие. Оно предполагает изолирование чистых субстанций и операцию миксирования. Это понятие, которое вызывает представление о лаборатории. Но уместно ли оно, когда речь идет об идее художника создать похвалу смешению цветов? Он никогда не должен работать с их спектром, он всегда имеет дело с бесконечностью смешения и выделения оттенков.

Поскольку стало возможным, чтобы прозвучало гнусное слово из разряда «этнической чистки», следует дать на это ответ. Но этот ответ не будет дан при помощи другого слова из подобного же разряда. Вот почему мы постараемся избежать придания слишком большой идентичности самому смешению, и чтобы удержаться в этом, мы сместим акцент и даже род, попытавшись перейти от смешения к схватке.

Дать права идентичностям - так, чтобы при этом не делать уступку их безумию, их презумпции, субстанциально быть идентичностями (в этом смысле «субъектами»), - вот в чем вся проблема. Она необъятна и одновременно очень проста: необходимо переделать себе культуру - и ничуть не меньше; переделать себе мышление, чтобы оно не было грубым, непристойным, каковым является все мышления о чистоте (purete). Заново смешать потомственные линии, пути, кожи, но также и описать их разнородные пути, сети, одновременно сплетенные и различные - и ни в коем случае не считать «человека» чем-то простым, гомогенным, присутствующим. И женщину тоже. И хорвата, и серба, и боснийца. Знать (но каким знанием?), что отныне субъект знания - это только кто-либо и как всякий кто-либо есть смешанная кровь.

Смешение - вещь деликатная, хрупкая, субтильная и летучая, которую сегодня часто рассматривают как утолщенную, запутанную. Действительно, существует - и я не первый, кто заставляет это заметить, — похвала смешению, которая раскрывает некий жанр, вытекающий из политической корректности, то есть из нормативного ужесточения наилучшим образом обоснованных требований. Это знаменитая похвала безудержному мультикультурализму, гибридизации, широко распространенным обмену и разделению, трансцендентальной пестроте.

Однако мы чувствуем, мы знаем, мы сталкиваемся с тем, что вещи не столь просты, что вихря, смешений, блужданий или беспорядков как таковых недостаточно. Или, скорее и прежде всего, что они не допускают мыслить себя как таковых. И в этом весь вопрос.

Но остается также, и нам это, увы, известно еще лучше, некий дискурс, который извлекает выгоду из упрощений другого, чтобы преувеличить и истрепать понятия различия, идентичности, собственности, чистоты и чтобы использовать, например, слово «космополит» с отвращением, в очевидно неприязненном смысле (иногда ясно коннотируемом как антисемитизм).

Наконец, и это именно так, есть те, кто разворачивает спиной друг к другу эти две корректности, кто декламирует бесконечный катехизис о единстве в разнообразии, о комплементарности, о весьма умеренных различиях. Этот дискурс весьма благонадежен, он иногда является весьма подходящим в случае моральной или политической необходимости, но он остается лишь намерением и призывом. Он не приходит в результате к тем вещам, о которых говорит.

Прежде всего, выскажемся ясно: упрощенческая похвала смешению сумела породить заблуждения, но упрощенческая похвала чистоте защищала и продолжает защищать преступления. Следовательно, с этой точки зрения нет никакой симметрии, никакого равновесия, которые следовало бы поддерживать, никакой точной середины. Нет ничего, что стоило бы обсуждать. Малейшая дискуссия, малейшее промедление вокруг некоторого проявления расизма, какого бы то ни было, вокруг «пурификации», какой бы она ни была, уже участвуют в преступлении. Впрочем, преступление всякий раз двойственно: моральное и интеллектуальное. Любой расизм глуп, туп и напуган. Я всегда испытываю настороженность в отношении длинных речей и крупных конференций по поводу расизма: мне кажется, что тем самым мы отдаем слишком много чести этой мерзости. И поэтому подобным же образом меня коробит от идеи «похвалы смешению»: как будто смешение должно быть ценностью или подлинностью, которые необходимо раскрыть, тогда как оно есть очевидность, или, если присмотреться ближе, то его даже и не существует, коль скоро никогда нет ничего «чистого», что можно было бы или что следовало бы «смешать» с какой-то другой «чистотой».

Следовательно, речь никоим образом не идет о том, чтобы придерживаться точной середины между двумя противоположными тезисами, поскольку эти два тезиса существуют

лишь в той мере, в какой имеется упрощение и извращение того, что подвергается обсуждению.

По определению, смешение не является простой субстанцией, место и природу которой можно было бы определить, которую можно было бы раскрыть как таковую и которой, следовательно, можно было бы запросто воздать хвалу. По определению, идентичность не является абсолютным различием, отрезанным от всего и, следовательно, ни от чего не отличающимся: она есть всегда другое некоторой другой идентичности. «Он отличающийся - как и все» («Последнее танго в Париже» Бертолуччи). Различие как таковое неразлично. Ни смешение, ни идентичность не позволяют себя фиксировать. Они всегда наступают внезапно, всегда уже в прошлом или еще только ожидаются. И они являются, разделяемыми всеми, между всеми, и одно другим.

Именно потому, что смешение смешанно (оно смешанно (mille) и оно является схваткой (melee)), оно не является субстанцией. И также невозможно замещать несубстанциальность ее содержания посредством предполагаемой консистенции содержащего: именно в этом заключается трудность идеологий melting pot, где горшок (pot) предположительно содержит, во всех смыслах слова, как загадки смешения, так и все раз» рушительные силы.

Гибридизация не является «чем-то», и если гибрид - каковым все мы, каждый на свой лад, являемся - это некто, то не по причине некоей сущности гибридизации (противоречивое понятие), но потому, что он обеспечивает точность, единичную конфигурацию этой бес-сущности гибридизации. Наполнять сущностью смешение - это превращать его в нечто уже расторгнутое, фундированное в чем-то ином, нежели оно само. Таким образом, не следовало бы даже говорить «это» смешение и, в особенности, воздавать ему похвалу.

Смешение как таковое может принимать или создавать видимость, что принимает, две ипостаси: ипостась смешения, завершено осмоса, или ипостась достигнутого разулорядочивания. Алхимия или энтропия, две фантазматические крайности, которые объединяются, отождествляются друг с другом, чтобы закончиться в апокалипсисе или же черной дыре. Но смешение как раз-таки не является ни тем, ни другим, ни их точной серединой. Оно есть совершенно иное, или еще, оно «есть» иначе, совершенно иначе.

Таким образом, лучше было бы говорить о схватке: скорее действии, нежели субстанции. Что касается схватки, то она сразу же бывает двух родов: и уж, во всяком случае, нет никогда «просто-напросто» схватки. Есть схватка борьбы и есть схватка любви. Схватка

Ареса, схватка Афродиты. Смешанные друг с другом, нераспознаваемые. Ни энтропии, ни алхимии. Состязание, которое не может состояться без ревнивого желания и атаки, без призыва к другому как другому, который всегда иной.

(Но схватка Ареса - это не современная война, которая, впрочем, чаще всего обходится без схватки и прежде всего истребляет тела, которая нацелена на то, чтобы раздавить, подавить, а не вывести из битвы, и которая не имеет пространства битвы, но, напротив, распространяется повсеместно, которая убивает, насилует, облучает, травит газами и заражает все «гражданское» пространство. Война сегодня - это чистое, беспредельное смешение. Это не схватка. Что же касается схватки Афродиты, то о ней можно также сказать, что сегодня это оргия или порнофильм).

Следовательно, смешения не существует. Оно случается, происходит. Есть схватка, скрещение, сплетение, обмен, раздел - и все это никогда не является одной единственной вещью, или же одним и тем же. С одной стороны, смешение - это некое «оно случается», а не «оно есть»: смещения, случайности, миграции, отклонения, встречи - случай и риск. С другой стороны, оно не «одно»: в схватке есть наперекор и навстречу, есть то, что подобно, и то, что различается, то, что вступает в контакт, и то, что составляет договор, то, что концентрирует, и то, что рассеивает, то, что отождествляет, и то, что отчуждает - как два пола в каждом из нас.

Смешение не является просто «богатством» разнообразия, которое оно смешивает. Такое постоянно ускользает от него, поскольку смешение есть ничто само по себе. Существует количественный дискурс - в основе своей капитализирующий, ищущий выгоду - о «взаимобогащении». Однако речь не идет ни о бедности, ни о богатстве. «Культуры» - то, к чему взывают, - не добавляются друг к другу. Они встречаются, смешиваются, отчуждаются, переконфигурируются. Они окультуривают друг друга, возделывают, орошают или осушают, обрабатывают или прививают друг друга.

Изначально каждая из них - впрочем, где она, эта абсолютная точка отсчета? - представляет собой некоторую конфигурацию, уже схватку. Первая культура была схваткой рас или видов, *rectus, erectus, sapiens*. Запад, столь гордящийся «греческим чудом» своего собственного происхождения, должен был бы непрестанно размышлять относительно этнического и культурного разнообразия, движения народов, передачи и преобразования навыков, искажений языков и нравов, которые сотворили, создали конфигурацию, называемую «эллинами». Историю этой схватки следует перечитать: «Таким образом в начале II тысячелетия создается явление экстраординарной новизны, космополитическая культура располагается в том месте, где можно распознать вклады различных цивилизаций, возникших на побережье или островах. Одни из этих цивилизаций вошли в состав империй: Египет, Месопотамия, Малая Азия Хититов; другие зародились на море и были поддержаны городами: сирийско-ливанское побережье, Крит, позднее Микены. Но отныне все общаются между собой. Все, и даже Египет, обычно столь замкнутый на самом себе, обращаются к внешнему миру со страстным любопытством. Это эпоха путешествий, обмена подарками, дипломатической переписки и принцесс, которых выдают замуж за иностранных королей в качестве залога новых «международных» отношений. Эпоха, в которую на фресках египетских гробниц мы видим возникающими в оригинальном облачении все народы

Ближнего Востока и Эгеи - критян, микенцев, палестинцев, нубийцев, ханаан...» [73].

Любая культура является в самой себе «мультикультурной» не только потому, что ей всегда предшествовала некая аккультурация, и не только потому, что нет просто-напросто отправной точки, но, в более глубинном смысле, потому что жест культуры сам по себе является жестом схватки: он означает столкновение, конфронтацию, преобразование, искажение, развитие, повторное сочетание, комбинацию, бриколаж.

Дело не в том, что нет «идентичности». Некоторая культура единственна и уникальна. (Настолько, что можно было бы довольствоваться словом «культура», которое, похоже, уже идентифицирует то, о чем оно говорит. Однако как раз-таки это слово ничего и не идентифицирует. Оно довольствуется тем, что обходит трудности, которые спрессованы в массу, если можно так сказать: «народ», «нация», «цивилизация», «дух», «личность»). Некоторая культура - это определенный «некто». И факт и право этого «некто» не могут не приниматься в расчет или не признаваться во имя эссенциализации «смешения».

Но насколько этот «некто» ясно отличим и отличен - настолько он не является, видимо, своим собственным основанием. Не смешивать различие и основание - вот, видимо, в чем все дело, вся цель философии, этики и политики того, что сплетается вокруг «идентичностей» или «субъектов» всех видов. Таким образом, абсолютное различие картезианского *ego existo* не должно смешиваться с основанием, которое к нему добавлено, в чистоте *res cogitans*. И точно так же «французская» идентичность для своего существования не нуждается в Версингеториксе [74] или Жанне д'Арк.

Единство и уникальность некоторой культуры являются таковыми только на основании смешения, или схватки. Именно «схватка» находит в некоторой «культуре» стиль или тон, но также множество голосов или множество способов для интерпретации этого тона. Существует французская культура. Но и сама она многоголоса и никоим образом не персонализируется - разве что для тех, кто смешивает ее с петухом или с Dupond-la-Joie. Голос Вольтера - это не голос Пруста, чей голос, в свою очередь, отличается от голоса Пастера, как и этот - от голоса Риты Мицукко. Он, голос, возможно, вообще никогда не является чисто и просто французским: что является и что не является французским у Стендаля, Пикассо, Левинаса, Годара, Джонни Холлидея, Кат'Онома, Шамуазо, Диба? Опять-таки, все это не означает, что не существует «французской идентичности»: это означает, что некая идентичность такого типа никогда не является просто идентичной в том смысле, в каком карандаш сегодня тождествен самому себе вчерашнему (следует предположить, что это не является в материальном плане неточным...). Идентичность карандаша оставляет этот карандаш менее идентифицируемым как «вот этот» - остающийся до определенного момента любым карандашом, - чего не делает идентичность некоторой культуры или некоторой личности. Чтобы провести различие, вторую идентичность можно называть *ipseite*, «бытием-самим-собой».

Самость (ipseite) — это не чистая инерция тождественного, которое оставалось бы просто тем же самым, в смысле бытия самим собой: то есть то, что, как полагают, составляет бытие камня или Бога. Самость позволяет себе или заставляет себя идентифицировать. Для этого требуется сеть обменов, признаний, отсылок от одной самости к другой, от различия к различию. Самость ценна для другого и оценивается другим, посредством другого, других, у которых она берет и которым дает, при помощи своего единичного касания, некий идентифицируемый тон — то есть также неидентифицируемый, неимитируемый, неопределимый в точности как одна идентичность. «Самость» в точности называет то, что никогда не идентифицируемо в идентичности.

Действительно, чистая идентичность не была бы только инертной, пустой, бесцветной и безвкусной (какими бывают чаще всего те, кто обнаруживает чистые идентичности): она была бы абсурдом. Чистая идентичность аннулирует себя, она не может себя идентифицировать. Она только идентична себе, а это замыкает круг и не приходит к существованию.

Кто был достаточно чист, чтобы называться арийцем, достойным этого имени? Известно, что этот вопрос мог довести истинного нациста, нациста абсолютно отождествленного со своей целью или с предметом своей заботы, до стерилизации, то есть до самоубийства.

Чистота - это хрустальная пропасть, в которую низвергаются идентичное, собственное, подлинное, ничто, связывающее другого с самим собой, чтобы превратить его в бездну. Абсолютный и головокружительный закон собственного состоит в том, что оно, присваивая собственную чистоту, чисто и просто отчуждается. Иная форма смешения: смешение-с-собой, самосмешение, аутизм, автоэротизм.

Язык всегда является смешением языков, чем-то на полпути между Вавилонской башней как тотальным смешением и глоссолалией как непосредственной транспарентностью. Стиль всегда представляет собой перекрещивание тонов, заимствований, разрывов и принуждений, которые он приводит в движение. Видимо, каждый стиль кажется ведущим к крайнему, суверенному повороту, который был бы поворотом абсолютно собственного языка, абсолютного идиолекта. Но некоторый идиолект, или абсолютный язык, уже более не был бы языком, не мог бы более смешиваться с другими, чтобы быть таким языком, каков он есть: не умея более переводиться, чтобы быть таким непереводимым, каков он есть. Чистый идиолект был бы idiot: совершенно лишенный отношений, а значит, идентичности. Чистая культура, чистое свойство были бы идиотами.

Что такое сообщество? Это не макроорганизм или огромная семья (следует предположить, что мы знаем, что такое организм, семья). Общее, обладание-сообща или бытие-сообща исключают из него самого внутреннее единство, содержание и присутствие в себе и

посредством себя. Быть с, быть вместе и даже быть «объединенными» - это как раз не быть «одним». Единое сообщество - это только смерть, но не та смерть, которую мы ассоциируем с кладбищем, местом опространствования, дистинкции: но смерть, каковой она видится в пепле крематорских печей или в нагромождении трупов.

Или еще, иначе: систематическое насилие над боснийскими женщинами образцовым образом раскрыло перед нами все фигуры бредового утверждения единого сообщества - насилловать, чтобы породить бастардов, заклеянных как неприемлемые, априори исключенные из предполагаемого единства; насилловать, чтобы затем убить, разрушив тем самым самую возможность появления бастарда; насилловать, чтобы обязать избавляться от бастардов, и насилловать, чтобы этот повторяемый акт приписывал своих жертв к вымышленному единству их «сообщества»; насилловать, чтобы проявить всеми способами, что как раз не должно быть отношений между сообществами. Нулевое действие, само отрицание пола, отрицание отношения, отрицание ребенка, женщины, чистое утверждение насильника, в котором «чистая идентичность» («расовая» идентичность) не находит ничего лучшего, как проявляться посредством гнусного кривляния того, что она отрицает: отношения и бытия-вместе. (Вообще, в насилии, видимо, является показательным то, что оно задействует отношение, отрицанием которого как раз само и является. Оно ожесточенно нападает на отношение, на схватку).

То, что у нас есть общего, это всегда также то, что нас отличает и различает. Общее у меня с некоторым французом - это не быть таким же французским, как он, и чтобы наша «французскость» была бы нигде, ни в какой сущности, ни в какой завершенной фигуре. Это не ничто фигуры, но некий след, всегда находящийся в процессе движения, вымысел, всегда в процессе изобретения, смешение черт. Дело не в том, чтобы идентичность всегда была «в процессе», видимая на горизонте, подобно прекрасной звезде, ценности или регулятивной идее. Даже в бесконечной проекции она не наступает, она не идентифицируется, поскольку она уже там, потому что это она, схватка.

Я есть в тот самый момент, когда смешались (*se melent*) мои мать и отец, это я тот, кто их смешивает, это я их схватка, и, однако, я не породил себя.

Что такое народ? Конечно, существуют этнические черты. Редко, чтобы можно было принять сицилийца за норвежца (хотя норманны были также смешаны с Сицилией). Но сицилиец «из народа» и сицилиец - представитель крупной буржуазии, можно ли их спутать? В свою очередь, у нас будет больше шансов спутать, в Чикаго например, сицилийца «из народа» и поляка из того же «народа» или же представителей крупной буржуазии из Палермо и из Лиона. Для того чтобы не желать больше ничего знать о классах, мы пришли к тому, чтобы отрицать наиболее повседневные очевидности. Видимо, некоторый класс позволяет рассматривать себя не в качестве идентичности, но, скорее, как условие того, чтобы были возможны некоторые формы (а может, и все) тоталитаризма. Но речь как раз не идет о том, чтобы разыгрывать одну идентичность против другой. Речь идет о том, чтобы практиковать единичности, то есть то, что не дается и не выставляется иначе, кроме как во множественном числе: *singuli*, «один за другим», - это слово, существующее лишь во множественном числе. Самость существует только как единично распределенная: она - это «онасама», если можно сказать, дистрибуция, диссеминация, изначальное разделение того -

самого ipse (ipse soi-tёте), - которого никогда нет и которое нигде не присутствует как таковое, ни в ком «персонально». Ipse «есть» своя собственная дисперсия.

Это не ничто - это именно все - но нам остается помыслить эту тотальность дисперсии, это всецелое (tout-un) в схватке.

Смешения не существует, равно как и чистоты. Нет ни чистого смешения, ни нетронутой чистоты. Не только нет такового, но это есть закон некоторого «имеется»: не было бы ничего, если бы было что-либо чистое и нетронутое. Не существует ничего «чистого», что не прикасается к другому, не потому, что необходимо ограничить с чем-то, как если бы это было простое случайное условие, но потому, что только касание выставляет напоказ до тех пределов, на которых идентичности или самости могут отъединяться друг от друга, друг с другом, друг между другом, одни среди других. Нет ни просто смешанного, ни просто идентичного, есть всегда непрестанная распря одного в другом.

Схватка не является чем-то случайным, она является изначальной; она не случайна, а необходима; она не есть: она всегда происходит.

Схватка Ареса и схватка Афродиты, схватка одного и другой: чтобы были удары и объятия, чтобы были атаки и перемирия, соперничество и желание, мольба и вызов, диалог и разногласие, опасение и сострадание, а также смех. И схватка Гермеса, приклеенные на спину лица, смешение сообщений и путей, бифуркации, замены, конкуренция кодов, пространственные конфигурации, открытые для прохода границы, чтобы были проходы, но разделенные, поскольку есть всегда только разделяемая идентичность: разделенная, смешанная, различная, укрепленная, общая, заменяемая, незаменяемая, отложенная, выставленная напоказ.

Почему паспортная фотография («photo d'identite») является чаще всего наиболее убогой, наиболее невыразительной и наименее «похожей» из всех? Почему десять паспортных фотографий одного и того же человека столь различны? Когда же некто похож на себя? Только когда фотография показывает больше, чем идентичное, больше, чем «фигура», «образ», «черты» или «портрет», составленный из диакритических знаков некоторой «идентичности» («черные волосы, голубые глаза, курносый нос и т. д.»), и когда она обнаруживает нескончаемую схватку народов, родителей, труда, боли, удовольствия, мыслей, отказов, забвений, заблуждений, ожиданий, мечтаний, рассказов и всего того, что трепещет, и всего того, что возбуждается на границах образа. Ничего воображаемого, только реальное: реальное есть из схватки. Настоящая паспортная фотография была бы бесконечной схваткой фотографий и начертаний, которая ни на что не похожа и под которой вписывают легенду имени собственного.

Эту легенду следовало бы прочитать, расшифровать и рассказать - но она не является мифом: тем самым мы хотим сказать, что она не сводила бы идентичность к самости или к некоему некто, чьей легендой, неким «это предназначено для чтения» она является. То, что

следует прочитать, это то, что написано. Миф не написан, он спроецирован и изречен, разрекламирован и выставлен напоказ в чистом виде, без привыкания, без истории. Миф не только идентифицирует нечто, но он идентифицируется сам: он является бесконечной предпосылкой своей идентичности и своей аутентичности. Если бы я в мифической манере говорил «Арес», «Афродита», «Гермес» или «Франция», я уже сказал бы в этих именах больше, чем все то, что можно было бы об этом сказать, и нельзя было бы сказать ничего легитимного, что не было бы изначально аутентифицировано в них. Тем самым, только голос Франции выскажет то, что есть французское. Миф — это смысл, который является своим собственным субъектом, и имя собственное как идиосемия некоторого идиолекта.

Но то, что написано и предназначено для чтения, это то, что не предшествовало своему вхождению в привычку, это схватка черт одного смысла, который утрачивается в поисках себя или в изобретении себя. Я читаю, что Сараево - это город, возникший из по меньшей мере трех городов, существовавших последовательно и одновременно, и что Босна-Сарай здесь смешан с Мильяской и Илидцей.

Версия #3

Зверобой создал 14 февраля 2026 18:35:34

Зверобой обновил 14 февраля 2026 18:53:32